

Б О Л Ь Ш А Я П Р О З А

ЧАСТЬ I

Я сирота, отец мой погиб во время войны в Корею, а мать умерла от голода в лесу, сжимая в руке клочок бумаги, где было начертано имя ее мужа, офицера Народной армии. Рядом с матерью лежал я, трехгодовалый ребенок, меня подобрала крестьяне и передали в государственное учреждение. Очевидно, мать бежала со мною на руках, спасаясь от наступающего врага, и заблудилась в лесных дебрях одной из глухих провинций Северной Кореи. Неизвестно, сколько времени продержалась несчастная моя матушка в лесу, но если учесть летнее наступление американцев 195... года, то, очевидно, несколько месяцев — ее нашли уже глубокой осенью. Питалась она, должно быть, одной травой да кореньями — даже у мертвой в стиснутых зубах была зажата горстка травы.

Я ничего этого не помню, и даже смутного облика матушки не возникает в моей памяти, как я ни напрягаю ее. Но зато совершенно отчетливо вспоминается мне, как по стволу дерева спустился рыжий зверь с пушистым хвостом, перебежал на простертую надо мною ветку и замер, сверху внимательно разглядывая меня. И в глазах белочки — а это была, несомненно, белка, которая в силу моей собствен-

ной малости показалась громадной, — светилось такое любопытство, дружелюбие, веселье и бодрость, что я рассмеялся и протянул к ней руку. Дальше память вновь обволакивается туманом, в котором навсегда скрыта для меня подлинная история моего спасения. И все же неизменное чувство, что рыженькая белка каким-то образом оказалась главной спасительницей моей жизни, осталось во мне навсегда. Вполне возможно, что уверенность происходит от мгновенного доверия, которое возникло с самым первым импульсом младенческой души, когда я лежал на земле рядом с мертвой матерью и протягивал руку к зверьку, чьи глаза были полны ясности и веселья. Как бы там ни было, но всегда при попытках вообразить безвестную матушку я вижу сбегающую по дереву белку, и она спешит ко мне, чтобы напитать первый миг моего существования надеждою и весельем мира.

Это единственное воспоминание, относящееся, как бы это сказать, к тому мифическому времени, когда мое существование было всецело в руках высших сил и не зависело от людей и от моей собственной воли; далее все, что удержала детская память, связано с годами, прошедшими на Сахалине в доме моих приемных родителей. Простые русские люди, оба всю жизнь проработавшие бухгалтерами, бездетные, они усыновили меня, как делали многие в те годы, когда в Советский Союз переправляли осиротевших в войну корейских детей. Я вырос в деревянном домике, обшитом «елочкой» и крашенным масляной краской, причем цвет дома менялся на моей памяти несколько раз, всегда делая его волнующе неузнаваемым: салатно-зеленым, весьма аппетитным; коричневым, строгим и серьезным, или

голубым, как небеса. Детство мое благодаря заботам и вниманию дорогих мне людей, чью фамилию я ношу, было вполне счастливым. Оно прошло на окраинной улице сахалинского поселка, среди сараев, поросших огромными лопухами; черных угольных куч, обязательных возле каждого дома; и под мирный лай дворовых собак, которые в пору моего детства бегали на цепи, прикрепленной за кольцо к натянутой проволоке, и содержались в конурах.

Дорогая моя, это была достопамятная эпоха перехода от деревенской жизни к городской, урбанизация утверждалась не сразу, шла последовательными путями и закономерно выдвинула промежуточный период — поселковую стадию жизни. В поселке, который иногда мог быть официально назван городом, наличествовали тихие сельские улочки и деревянные домики, воду брали из колодцев и обогревались печами. Человеческая жизнь, отражая эту промежуточность, была отмечена противоречивыми устремлениями, не могла, скажем, отказаться от надежд, связанных с огородом или с откармливаемым поросянком, похрюкивающим в сарайчике, но и не мыслила своего счастья без того, чтобы хотя бы раз, когда-нибудь, не окунуться в дым и чад города, побродить по асфальту, на котором ничего не растет.

Сам я давно живу в огромном городе — и хотя так и не привык жить на асфальте и бетоне, — но понимаю, что без этих каменных и железных гнездовий человеческого духа не произошло бы на нашей планете загадочного и — вполне допустимо — единственного во Вселенной явления. Генераторы энергии дивной ноосферы — наши города пылают и светятся в ночи, раскаленные своим внутренним жаром; и какому вольному мотыльку, залетевше-

му туда на приманчивый свет, удастся не опалить в огне своих крыльев?

Мне, хвостатому зверьку, нечаянно забежавшему на бетонные панели одного из самых крупных городов мира, пришлось испытать много дивного, ужасного, удивительного, и мое свидетельство жизни, изложенное просто, правдиво, подробно, могло быть весьма даже занятным и поучительным. Моим духовным порывом повелевает отнюдь не мелкое тщеславие поведать всему свету о своих приключениях. Нет. Но я не могу умолкнуть навсегда с подobaющим мне смирением, потому что есть в природе такое неумирающее явление, как чувство неисполненного долга.

При жизни я любил вас, но ничего или почти ничего не сделал для своей любви, а должен был сделать все возможное и невозможное. И вот меня не стало — я освободил то место в пределах земного воздуха, которое занимал. И что же? Дождливая ночь в городе, какая-то мокрая стена, оштукатуренная «под шубу», свет фонаря, падая косо, золотит ее. Вдруг промелькивает на ней черная тень хвостатого зверя — это я бегу по мокрой улице в вечной своей неутоленности. Стена, вдоль которой я пробегаю, кончается, и за углом дома я сталкиваюсь с человеком, который испуганно отпрыгивает в сторону, поправляя на носу очки. Что-то такое в нем меня останавливает, не давая промчаться дальше, я внимательнее приглядываюсь к нему — и замираю в великом удивлении. Передо мною стоит мой двойник, только одежда на нем другая и очки не такие, какие обычно я ношу.

«Что же происходит, — бормочу я себе под нос. — Или в этом городе я сошел с ума и уже галлюцина-

ции начались?..» — «Ничего подобного, — отвечает двойник (и точно — моим голосом!). — По физическим законам, которые тебе известны, ты не должен видеть меня. Ведь я тот, кем ты станешь через много лет». — «А как же ты, — говорю. — Вы-то как можете видеть меня?» — «Ну, прошлое нам доступнее, чем будущее», — усмехаясь, отвечает он. «И все же, — сомневаюсь я, — возможно ли подобное раздвоение? И в чем смысл нашей встречи?..» — «Никакого раздвоения, приятель, — был ответ, — я что-то вроде твоего плоского отражения в зеркале времени. А смысл нашей встречи в том, что я — твоя будущая тоска, которая рождается из той самой, что в эту минуту грызет тебя изнутри. Ты ведь сейчас бежишь в свое училище, на вечер, не правда ли?» — «Да». — «Веселиться, танцевать?» — «Разумеется». — «Ну, так не будет тебе веселья. В душе, на самом дне, лежит у тебя комочек яду. Он отравит всю твою будущую жизнь». «Что же это за яд?» — спрашиваю я. «Звериный страх, — ответили мне, — вот как он называется. Ты так и не осмелишься стать человеком». «Но мне совсем не нравится такое будущее, — отвечаю я, стараясь не выдавать своей досады. «И все же, смотри — вот оно, перед тобой».

Тут он неожиданно исчез с глаз. Нет, не тот исчез, который явился взору юного студента, а исчез сам студент, спешивший на праздничный вечер в свое училище. И остался я один на мокром асфальте возле дома, оштукатуренного «под шубу». Моя бесценная! Вы, наверное, давно уже замужем, и дети у вас большие, прекрасные, здоровые, и дом полная чаша — да пройдут ваши дни на земле в радости и благополучии! А я все же должен попытаться выполнить свой запоздалый долг. Ведь это вслед за вами, по ва-

шим следам я попал в этот великий Город, проехав на поезде через всю страну. Я долго, путано искал вас: адресный стол выдал мне тринадцать справок о ваших полных тезках; и всем было, как и вам, по семнадцати лет; и на каждый адрес я ехал со стучащим, как молот, сердцем; и горечь разочарования постигала меня все тринадцать раз. Правда, на одной из квартир мне удалось напасть на след вашего пребывания: старушка хозяйка рассказала мне, что у нее жили несколько месяцев две студентки, и одна из них была небольшая росточком, писаная красавица, курчавая, беленькая. Что ж, описание волнующе совпадало с внешностью оригинала, однако на этом все и кончилось. Где еще искать вас, я не знал. Но вскоре явил себя господин Удивительный Случай.

Я к тому времени уже учился в художественном училище, и вот мне однажды понадобилось купить щетинных кистей, я зашел в огромный универмаг — и там, на одном из верхних этажей, среди беспокойной густой толпы я и увидел вас. Я подошел и поздоровался, вы удивленно посмотрели на меня. С вами была подруга, здоровенная и добродушная моржиха с усиками, наверное, та, с которой вы снимали комнату у седой старушенции...

Ну что я должен был сделать? Я шел рядом и молчал. Мы спустились по широкой лестнице с этажа на этаж. Ваша усатая подруга посматривала на меня не то чтобы насмешливо или враждебно, но как-то уничтожающе выразительно, как бы говоря взглядом: ну, чего тебе надо, пушистый хвост? И вдруг мою душу охватило то самое... Глухое... лесное... гибельное.

Я остановился в толпе и с великой тоскою огляделся. И увидел, какое множество самых разных

оборотней снует меж людьми, такими же прекрасными, как и вы, моя бесценная. Художники Возрождения лучше других сумели постичь эту подлинную человеческую красоту — мэтры: Боттичелли, Джорджоне, Тициан... А тут рядом с вами топало через зал, клацая когтями о каменные плиты пола, мохнатое семейство бурых медведей: папа нес под мышкой свернутый в толстый рулон полосатый бело-розовый матрац, мама, прихрамывая, тянула за лапу медвежонка. Щеголиха-шимпанзе в модной мини-юбке, с кожаной сумочкой на длинном ремешке, перекинутом через плечо, прошла мимо и ревниво оглядела вас с ног до головы... И я был одним из этих оборотней — и мне не на что, не на что было надеяться!..

Очнувшись, я не увидел ни вас, ни вашей подруги-моржихи. Я помчался вниз по лестнице, распушив хвост, прыгая через три ступени сразу, выбежал на улицу — и влетел в кошмарную толпу, медленно двигавшуюся к метро, чтобы пройти свое ежедневное испытание часом пик...

Таким-то образом я и потерял вас, только что встретив чудом, и этот символический, загадочный знак судьбы сильно подействовал на меня. Я больше не пытался искать вас — и вот прошло много лет, теперь могу сказать, что я погиб в тот день, кружась посреди густой уличной толпы. Вернее, дальше существовал некто другой, которому без вас незачем было и жить.

Когда вам было шестнадцать лет, я впервые увидел вас, и вот при каких обстоятельствах. Примерно за год до этого я сделал для себя открытие, что, глядя в книге на какой-нибудь портрет вождя или писателя, могу срисовать его с большой точностью.

Процесс срисовывания увлек меня, я принялся за копирование картинок с дальнейшей раскраскою их акварелью — новая ступень на пути восхождения к искусству. И очень скоро в школе меня называли художником.

В столь ответственный для меня момент биографии у нас появился новый учитель рисования и черчения, Леонид Харитонович, какой-то ваш дальний родственник. Его появление в поселке вызвало небывалый доселе расцвет искусства, и очень скоро наш клуб стал неузнаваем, украшенный произведениями кисти Леонида Харитоновича. Космонавты в скафандрах и космические ракеты, изрыгающие адское пламя на фоне ультрамаринного космоса; рабочие и крестьяне с огромными ручищами, поднятыми над головою, что, безусловно, должно было убеждать в неукоснительной правоте и полезности тружеников; задник клубной сцены, представляющий сказочный пейзаж, где соседствовали рядом гидростанция в летящих каскадах воды и мартеновские печи, новостройки с башенными кранами и поля с полосатыми пашнями, на полях трудились тракторы. Автор изобразил на первом плане еще и несколько пятнистых коров, каждую с чудовищным выменем, вызывавшим нестерпимый восторг при мысли, сколько же молока можно получить из этого источника. Вы помните, наверное, какая прекрасная картина висела на стене в его комнате, которую он пышно называл мастерскою? На этом полотне, примерно метр на полтора, стояли три женщины, бесподобные мощью и крутизною нагих бедер, перед ними сидел на камне, вольготно развалиясь, толстый малый в панталонах, с мускулистыми икрами. Кар-

тина изображала, как объяснил мне Харитоныч, суд Париса. Это была, по словам учителя, лучшая его вещь, и мне тоже казалось тогда, во дни чистого детства, что не может быть ничего на свете прекраснее ее. Правда, впоследствии я убедился, что Харитоныч не совсем был самостоятелен в замысле, а точнее — он попросту скопировал ее, слегка видоизменив, с одной известной картины периода французского романтизма; но, несмотря на все, я до сих пор благодарен за тот светлый порыв, который пробудил в моей душе скромный учитель рисования своим шедевром...

Это в доме Леонида Харитоныча я стоял за шкафом, невидимый из той комнаты, где вы переодевались, и было вам тогда шестнадцать лет, как и мне, а теперь нам обоим за тридцать, и все равно до сих пор ясен, как сиюминутный сон, тот миг, который как будто еще продолжается... Я теперь знаю тлен любовной ласки и печальную тщету лакомой женской плоти, которая почти на глазах превращается из розы в старый чулок, но все это постылое знание да жажда смерти не могут погасить в глазах моих света яркой минуты. Я вижу ваши шестнадцатилетние нежные плечи и больше ничего, и пройдет много времени, прежде чем я однажды определю, что мое юношеское впечатление могло быть точно выражено известными словами Пушкина: «Я помню чудное мгновенье». Я всегда помню это чудное мгновенье. Я подыхаю, дорогая, ибо прожитая без вас жизнь становится для меня уже непосильным мешком мусора, который я зачем-то тащу на спине, согнувшись в три погибели.

Как нам освободиться от ошибок своей прожитой жизни? Если можно было бы в прошлом, ко-

торое всегда с нами, взять и навести наконец безукоризненный порядок. Вмешаться в это прошлое и что-нибудь даже исправить в нем...

Моя утраченная, единственная, я думал о вас, лежа на ровно постриженной траве газона, и был вечер в парке, гремела музыка, люди густыми толпами разгуливали по аллее. Я снова был белкой — со мною произошло очередное превращение. Прошу вас запомнить и впредь различать две вещи, о которых я сейчас расскажу вам. Речь идет о превращениях и перевоплощениях. Я могу мгновенно превращаться в белку и обратно, принимать человеческий облик в минуты особенные, отмеченные каким-нибудь сильным возбуждением или испугом. Иногда бывает, что я подхожу к раздвинутым дверям вагона метро человеком, а вскакиваю в вагон — когда двери приходят в движение, чтобы закрыться, — стремительной белкой, быстренько втягиваю за собою хвост, чтобы его не прищемило, и снова мгновенно оборачиваюсь человеком. В большинстве случаев на это никто не обращает внимания, но бывает, что какая-нибудь чопорного вида старушка посматривает на меня неодобрительно... Это пример касательно моих превращений.

Перевоплощения же происходят у меня при изменности телесной сущности — просто моя душа вселяется в того или иного человека, и не только в человека, но даже в бабочку или пчелу, — и это происходит не по моей воле и в момент, совершенно не предвидимый мною. Полагаю, что в данном случае имеет место какой-то особенный дар, редкая способность, которою наделила меня природа. Этих перевоплощений у меня может быть сотни за одну

минуту, и я порой изнемогаю, побывав за время, что стою на краю тротуара, дожидаясь зеленого светофора, то каким-то клерком из Сингапура, у которого в кармане развалился отсыревший пакет с завтраком; то мелкопоместным дворянином из Рязанской губернии прошлого века, который начитался Г. Торо и хочет жить одиноко в лесу, и т. д. Каждое подобное перевоплощение для меня как краткий обморок, когда душа на время покидает тело; но бывают и затяжные обмороки, когда эта самая душа, словно истинная белка, скачет зигзагами все новых перевоплощений, как по ветвям густого леса.

Вот смотрите: я уже не я, а некто Кеша Лупетин, студент художественного училища, 187 см роста, бывший матрос Балтийского флота — я все еще ношу брюки клеш и полосатую тельняшку, я еду на свидание, но не с девушкой, что было бы естественно в моем возрасте, а с одним пожилым человеком, художником-акварелистом. С ним я познакомился зимою возле костра, который развели дети на пустыре, а затем разбежались. Лупетин, проходивший мимо, остановился у безлюдного огня, стал греть руки, а тут и человек подошел. Они разговорились, узнали, что оба относятся к одному и тому же братству живописцев, довольно долго простояли у костра, подбрасывая в огонь собранные детворою обломки ящичков, и человек вдруг пригласил Лупетина к себе. Он жил недалеко, за широким заснеженным пустырем, в одном из высоких новых домов.

С тех пор мы и подружились. Частенько бывало, что я звонил ему, и мы стоваривались встретиться где-нибудь ближе к центру, после отправлялись побродить по старым улицам, шли на выставку или